

## Пушкинские фамилии

Несколько лет назад - в качестве иллюстрации "народного пушкиноведения" - я рассказал М.В.Панову о странном лингво-социологическом факте, свидетелем которого мне довелось стать в начале 60-х годов, когда нас, студентов-третьекурсников ленинградского филфака, направили на практику в Пушкинские горы, где мы должны были осваивать малопочтенную, но бесполезную профессию экскурсовода. Мой рассказ показался М.В. достойным не только кулуарного бытования, но и готовившегося тогда сборника по ономастике.

К сожалению, вместо того, чтобы своевременно воспользоваться этим предложением, я, скорее всего по стилистической лености и художественному легкомыслию, предпочел академической строгости изложения беллетристическую форму, включив реальные факты в ткань повествования, основанного на авторской фантазии. Вместо статьи получилась небольшая повесть, герой которой, профессор Пушкинского Дома, специалист по Чехову, совершает в результате сложной и драматической внутренней работы преднамеренный акт культурного вандализма, унижительным (для рукописи) способом уничтожая беловой автограф рассказа "Скучная история", признанного шедевра отечественной новеллистики.

Повесть была опубликована в журнале "Континент", до недавнего времени практически недоступном внутрисоветскому читателю, что не снимает моей вины перед русскоязычной читающей публикой, которая оказалась жертвой жанра, будучи введена в заблуждение относительно эпизода с пушкинскими фамилиями, ибо АНЕКДОТ в том значении этого слова, какое бытовало в пушкинскую эпоху (а именно: за авний исторически достоверный случай), превратился в АНЕКДОТ, каким мы его знаем по новейшему словоупотреблению, т.е. - просто в комическую языковую ситуацию, заведомо не претендующую на житейскую достоверность.

И вот теперь, в пору невзданного расцвета публицистики, у меня возникло желание "изъять правду из вымысла", поскольку никакая художественная фантазия не способна соревноваться с символистическим буйством нашего административно-командного (как нынче принято выражаться) мышления.

Это случилось в июне 1964 года, когда вся страна в обстановке высокого морально-политического подъема готовилась отметить 105 годовщину со дня рождения А.С.Пушкина. Почему-то каждая пятая пушкинская годовщина выдается особенно богатой на юбилейные мероприятия. То ли общее имперское чутье роднит календарных руководителей нашей культуры с римскими понтификами, отсчитывавшими государственное время по пятилеткам (*lustrum*'ы), то ли здесь сказывается подсознательное воздействие архаической символики, то ли еще какие причины, но, как бы то ни было, раз в пять лет земли над могилой автора поэмы "Медный всадник" в б. Святогорском монастыре испытывает особенную тишину, содрогается и буквально ходуном ходит, как от "конского топота", — таково обилие жаждущих своевременно посетить "поэта дом оный". Естественно, местные гиды не справляются, и нас, студентов-филологов, — в духе милой сердцу Хрущева идеи тотального производственного воспитания — сняли с зачетной сессии и отправили сеять то, что завещал Некрасов (Николай Алексеевич). Нива общенародной любви к солнцу русской поэзии была в то время ограничена пространством между полуразрушенным Святогорским монастырем и свежестроенным домиком няни Арины Родионовны в Михайловском.

Чоткнулись страстные трудовые будни, когда смеясь, после третьей двухчасовой экскурсии, диспетчер из монастыря норовил навязать еще и четвертую. И скоро реальные полтора километра между главными объектами группового посещения превратились для каждого из нас если не в крестный путь, то по крайней мере в какую-то особую сакральную территорию, где вся жизнь, природа, человеческие повадки были организованы вокруг одного-единственного центра и имели смысл в одном-единственном случае — когда хоть как-то соотносились с биографией А.С.Пушкина. За пределами этого литературно-мифологического пространства жизнь шла своим обычным порядком: в окрестных колхозах вяло пытались сеять кукурузу, на главной площади соседнего Новоржева воздвигли постамент в ожидании нового памятника, между Михайловским и Тригорским неспешно строили из грязно-белого кирпича что-то вроде гигантского свиарника. Словом, вокруг было не до Пушкина.

Так казалось мне до тех пор, пока, "в рассуждении чего бы

покушать", а, точнее, в поисках меда, которого, по свидетельству нашей квартирной хозяйки, "в Егорихине всегда хоть зайлется", я не отправился искать эту деревню, расположенную, как было объяснено, "верстах в трех вправо после развишки на Новоржев" (старорусская "верста" в современной деревне синонимична официальному "километру" и не имеет ничего общего с одноименной дореволюционной мерой длины). Егорихино я нашел легко, деревенька домов в двадцать, несколько, к моему удивлению, каменных и на вид старых (остатки аракчеевского военного поселения, как потом выяснилось), одна прямая улица, совершенно пустая, будто вымершая, причем в тот момент я еще не был уверен, что попал именно в Егорихино, а спросить, кажется, не у кого, не то что меду купить.

Единственным живым обитателем деревни оказалась полуглая старуха, которая объяснила мне, что взрослых никого нет, все пошли на барщину в бригаду, она тут одна с дитятами, да еще вон там, за Вяземскими, коровы на выпасе, так там пастух еще есть, Кухлебкер, но от него толку не добьешься, тронутый совсем, с войны тронутый пришел, а ничего, тихий. Ее монолог передаю почти дословно, и сейчас, спустя четверть века, помню не только слова, но и интонацию, какую-то нездоровую смесь полного равнодушия (так говорят в пустоту, заученно) и благожелательности. Пока я мысленно приравнивался к колхозной барщине, сочетание Вяземских с Кухлебкером не казалось подозрительным: эти фамилии уже сделались для меня как бы неотъемлемой частью пушкиногорского ландшафта. Но когда в ответ на вопрос, можно ли здесь у кого-нибудь купить меду, я услышал, что лучше всего у Трёмных, вон там, напротив Ларинных у них дом, и мед у них липовый, а не гречишный, как у Волкопских — мне сделалось как-то неуютно, как-то не по себе. Я начал выяснять фамилии остальных жителей деревни, и жалею только о том, что не переписал их все в том порядке, в каком стояли дома. Но помню, что Онегины жили через дом от Ленских, а между ними — Белкины. На одном краю деревни поселились Трубецкие, на другом Пашокины, были когда-то и Дельвиги, но переехали в Опочку. Из Баратынских в живых один дед старый, но сейчас его свезли в районную больницу.

- Откуда у вас эти фамилии? давно?

- Не знаю. Вроде недавно. Раньше другие были.

- Какие?

- Да были какие-то...

Как ни старался, я не мог получить вразумительного ответа, и только к середине дня, когда в Егорихино стали возвращаться взрослые, кое-что прояснилось.

Название села Егорихина восходит, видимо, к 40-м годам прошлого века, когда здесь, на месте пришедшего в упадок военного поселения, осели не то старообрядцы какого-то особого толка, не го сектанты, близкие, судя по всему, к хлыстам, у которых все мужчины именуются (даже в бытовом общении) "христами". До 1949 года все представители мужского населения деревни Егорихино были Егорам: Егоровичами Егоровыми (вероятно, по мистическому соотношению с Георгием Победоносцем) и различались в обиходе или при внешних контактах по кличкам типа: Егор-Егорович-Егоров-На-бологе, Егор-Егорович-Егоров-Косой и т.п. Женских имен эта унификация не касалась, они отличались большим разнообразием.

Весной 1949 года праздновалось 150-летие со дня рождения Поэта. В Егорихино приехало начальство из райисполкома. Колхозников собрали и предложили сменить фамилии, пользуясь списком, который, записавшись на иноязычных звукосочетаниях, зачитал председатель колхоза. Кем этот список был составлен, думаю, мы уже никогда не установим, но, очевидно, что потрудился человек, более знакомый с анекдотической стороной биографии Пушкина, нежели с его книгами, ибо иначе я не могу объяснить наличие Гремина, чья фамилия изобретена Модестом Чайковским для нужд оперного либретто, но с другой стороны, присутствие Дельвига, Кюхельбекера и Нащокина изобличает некоторую начитанность чиновника.

Фамилии разбирали, как инвентарь: кому какая достанется, звучные - тем кто побойчей, непривычные и по виду нерусские - более робким. Бригадир взял себе Трубецкого, а Кюхельбекера, с общего одобрения, присудили контуженному инвалиду войны (он действительно выглядел жалко и нелепо спустя 15 лет, когда я увидел его).

Больше в тех местах я не был, но недавно мне рассказали, что именно там, под Новоржевом, сожгли дом, куда переселилась семья русских беженцев из Душанбе. Единственная причина поджога - чтобы гужим не повадно было приезжать.